

Я смотрел из окна,  
как весна на зеленых качелях,  
башмачком зачерпнув  
напитавшийся бедами снег,  
улыбается,  
и старуха спешит на вечерню —  
отмолить и себя,  
и железный заржавленный век.

Голубеющий сад  
и нагая шершавая пашня,  
жарких лиц мельтешенье  
в твердеющей мгле за углом,  
старый тополь стрелой,  
как ветрами затертая башня,  
как вселенский рычаг,  
чтобы Что-то хвататься могло.

Я стоял у окна,  
и скрипело крепление качелей,  
и холодный металл  
обжигал поясницу весны,  
и чертили лучи  
четкий срез неизбывных сечений,  
отрезая снега —  
как надел — от угодий лесных.

Не замолит никто,  
не испросит прощение. Всеу.  
На затылок слетает  
старуший пуховый платок.  
Взмах руки очертание нимба рисует.  
Надеваю пальто. Выхожу на порог.

Река Москва, над нею — чайка  
крылом касается воды.  
Касаюсь я — почти случайно —  
своей губой твоей губы.

Соленой рыбой пахнет берег,  
зачем солить ее в реке?  
И катит трехколесный велик  
девчонка в тоненькой руке.

Машины, сгорбившись, стирают  
асфальт последний с мостовых,  
и солнце ползает по краю —  
границе мертвых и живых...

А если просто — вечный вечер,  
как у ларька в пальто старик,  
большие вдавленные плечи,  
кудрлатой чайки трубный крик.

Она садится на макушку  
и прячет пузо в седине,  
а он сует в карман чекушку,  
предел венчая на земле.

\* \* \*

Мы глядели в глаза  
и о том и о сем говорили,  
и закат —  
растолстевшим за зиму котом —  
лег усами в Москве,  
а хвостом под Воронежем или  
под ростовским железнодорожным мостом.

И качали ссутуленный месяц  
кудрлатые лапы,  
и поскрипывал гвоздь,  
на котором тот месяц висел,  
и, наверное, кто-то сейчас  
от бессилия плакал,  
и с ведром молока  
шла доярка по крупной росе.

И, наверное, пальцы в галошах  
от холода жались  
и беззубо и жадно  
жевала галоши земля,

и завязывал леший на узел  
луженую завязь.  
Было все. Только прежде —  
глядели глаза на меня.

А под ними, как бусинки,  
белые капельки пота,  
а над ними, как ниточки,  
черные стежки бровей.  
Были б бусы,  
но мне не по силам работа,  
тебе нужен другой —  
поуверенней и посильней.

\* \* \*

Ходишь ощупью по квартире,  
незнакомой, давно уснувшей —  
в темноте, как в тягучей тине,  
капля в ванной — что «ква» лягушки.

И сопят, и носами дышат,  
обливая подушки потом, —  
почему-то под общей крышей,  
как под сводом глухого грота.

Ходишь ощупью — выход ищешь —  
и — о притолоки, об стенки,  
об комод, что как слабый нищий  
у двери заломил коленки.

\* \* \*

Лето. Вечер. Свет игольчат  
между липами в цвету.  
Гладкий стриж в корявый почерк  
размечает высоту.

На лету, в пике — рывками —  
рвет тугую синеву,  
и из порванного края  
краска капает в траву.

И зализывают тучи,  
буркнув громом на стрижа,  
рваной раны след пахучий  
от стрижиного ножа.

Дребезжат железом лужи  
и «УАЗик» дребезжит,

путь извилистей и уже  
у заброшенной межи.

В березняк, кривой и тонкий,  
мочажины миновав,  
заезжаем и по стопке  
опрокидываем вмах.

Между первой и последней —  
долгий взгляд, короткий вздох.  
Я — родившийся намердн —  
еще помню слово «Бог».

Ты — невдолге — уходящий  
Бога слышишь, Бога ждешь.  
Подмигнет из чащи пращур.  
Фыркнет еж.

\* \* \*

Я помню вечер деревенский  
и самогонку с молоком,  
и разговоры за столом:  
— Да, полно, Васька,  
будет,  
хрен с ним,  
корова слижет языком.

Я помню, пили с мужиком.  
Три года мучился он язвой.  
Я говорил ему:  
— Завязывай! —  
и зычно бряцал стаканом.

А он глядел поверх очков,  
глядел свежо,  
глядел напряжно.  
— Ну, полно, Васька,  
ну, ужо, стращать-то правдою  
сермяжной.

Он так глядел,  
он так глядел,  
как смотрит только деревенский,  
который вечно — не у дел.  
И наливал я —  
хрен с ним,  
хрен с ним!

Я помню, пили, помню ели  
или не ели ничего,

но точно пили и гудели  
про Бога, черта и Гюго.

Я помню шрам у подбородка  
и чуть заплывшую щеку,  
и что на всем его веку  
одна — по молодости — ходка,  
одна жена и дочь красотка,  
страна одна, изба одна,  
одна афганская война,  
одна с рождения походка.

Я помню дым табачный вязкий,  
я помню лай собачий.  
Три года мучился он язвой —  
все так — и не иначе.

\* \* \*

Дешевых дач нахохлившихся чубы,  
где виноград, откинувшийся ниц,  
где ждут дождя, как смерти или чуда.  
И дождь везут. И грохот колесниц.

И длинных рук, рабочих, постаревших,  
десяток рук заштопывают даль.  
И друг об друга — высохший орешник,  
и об фасад — со скрежетом — миндаль.

Подперт забор оставленным поленом  
на всякий случай — мало ли чего.  
Не мало. И целует баба Лена,  
меня целует в жаркое чело.

\* \* \*

Сад был черен и чист,  
где-то за или над —  
гладко выбрит, плечист —  
дом стерег этот сад.

Потных окон огни  
желтым жаром вовне.  
Уходя, подмигни  
опустевшей весне.

Ворон рвано лежит,  
выгнув крылья назад,  
на снегу, у межи,  
где кончается сад.

Где кончается час,  
чем кончается он?  
Поздний ветер, резвясь,  
чешет ежики крон.

И виляет хвостом,  
заметая следы,  
твой затылок ведом —  
кем — сквозь яблонь ряды?

И куда? — только дом  
не моргает. И сад,  
растянувшись пластом,  
не пропустит назад.